

Леонид Андреев

# Жертва



# Леонид Николаевич Андреев

## Жертва

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2786005](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2786005)

### Аннотация

«Мать и дочь – двое, и в нужде. Такими они остались после „с душевным прискорбием“ Якова Сергеевича Воробьева, полковника в отставке и под судом.

Умер полковник внезапно, от порока сердца, а под судом состоял за растроченные полковые суммы, растратил же для радостей семьи: жену баловал и дочь содержал в институте, и тоже баловал. Был он красивый старик, высокий ростом, бледный, сдержанный и крайне благородный, и женщину ставил так высоко, что всякий труд почитал для нее за оскорбление; и, не смущаясь ядовитыми шепотами знакомых, сам вдвоем с денщиком вел свое хозяйство, сам под большие праздники ходил в Андреевский рынок и сам вел списки грязного и чистого белья...»

# Содержание

I	4
II	11
III	15
IV	22
V	28
VI	34

# Леонид Николаевич Андреев Жертва

## I

Мать и дочь – двое, и в нужде. Такими они остались после «с душевным прискорбием» Якова Сергеевича Воробьева, полковника в отставке и под судом.

Умер полковник внезапно, от порока сердца, а под судом состоял за растраченные полковые суммы, растратил же для радостей семьи: жену баловал и дочь содержал в институте, и тоже баловал. Был он красивый старик, высокий ростом, бледный, сдержанный и крайне благородный, и женщину ставил так высоко, что всякий труд почитал для нее за оскорбление; и, не смущаясь ядовитыми шепотами знакомых, сам вдвоем с денщиком вел свое хозяйство, сам под большие праздники ходил в Андреевский рынок и сам вел списки грязного и чистого белья. Единственный труд, который он позволял жене, – это собственноручно мыть его собственный большой чайный стакан; но, принимая этот стакан, уже налитый крепким чаем, он

всякий раз испытывал большое, даже до боли, острое чувство благодарности. Все же остальное делали по дому горничная, портниха, кухарка и экономка; к последней оба они с денщиком относились с недоверием и держали ее единственно для виду. А кроме того, театры и концерты в первых рядах, конфеты и фрукты зимой, гости и ужины на пятнадцать персон с вином – так и не заметил он, как совершил растрату и наделал неоплатных векселей.

Год пребывания в отставке и под судом был для него временем холодного и безграничного ужаса: крайне благородный, он не допускал и мысли, чтобы жена, Елена Дмитриевна, хоть в чем-нибудь испытала лишение; вперед же, где открывалась бездна, он не решался и заглядывать. Хотя дочь Таисию пришлось взять из института, но в остальном обиход не изменился и роскоши как будто даже прибавилось: нужно чуду приписать, откуда в эту пору доставал полковник деньги. И все так же перемывала большой стакан своими немолодыми, но нежными ручками Елена Дмитриевна, и все так же спокойно почивала ночи рядом с мужем, даже не подозревая, что ни одной ночи за это время полковник не спал. Но он дышал тихо, не ворочался, чтобы не обеспокоить, и это в совершенстве походило на крепкий сон. И когда полковник одиноко, избегая шума и беспокойства, умирал в своем

кабинетике, на турецком диване, под стеной, увешанной длинными чубуками, – она кушала грушу дюшес, даже не подозревая, что превращается в вдову.

Несчастья для женщин начались сразу и уже длились без конца. Полковник умер, и его закопали, имущество, ковры и серебро продали кредиторы, а частью разворовала прислуга, и осталась Елена Дмитриевна вдвоем с дочерью на крохотном пенсионе, который ей кто-то выхлопотал во внимание к благородству полковника. Груши дюшес исчезли так бесследно, как будто только во сне виделись они, и наступила томительная, позорная, бесконечная бедность – почти нищета. Не всякий день обедали Елена Дмитриевна и дочь Таисия, бывшая институтка, некрасивая девушка с плоской грудью, напудренным носиком и неизбывною наивностью во взорах. Плакали, молились и ничего не понимали, но все ждали откуда-то конфет. Если душа полковника не умерла вместе с телом, а взидала на них с высоты, то страданиям ее не могло быть краю и предела.

Исключительных положений не терпит, однако, жизнь, и двух женщин она привлекла к некоему правилу: кто-то добрый и влиятельный устроил Таисию на службу, впряг ее в работу, и она заработала, и началось терпимое и обычное: вдовья мать-старуха и дочь на службе, существование бедственное, но воз-

можное. Так прошло десять лет со смерти полковника. И вначале Таисия плакала день и ночь, так как ничего не умела делать, и ее без стеснения ругали душой и гоняли со службы; потом приспособилась, крепко уселась в конторе одного большого торгового дома и успокоилась; и несколько лет единственным настоящим ее мучением была краснота носа, ничем не устранимая, противная, заметная даже под пудрой. У всех девушек в конторе, и магазине, и на улице носы были белые и краснели только от холода или от сырости, а у Таисии у одной, может быть, на десять тысяч, нос все время и без причины краснел. Почему?

Потом стала у нее болеть грудь, вся костяная доска, и начались невралгии. Потом она почувствовала себя усталой, так устала, что хотелось умереть. Потом усталость прошла, и началась почти одновременно страстная любовь к Михаилу Михайловичу Веревкину – и такая же страстная ненависть к матери Елене Дмитриевне, бесполезной старухе. Это было страшно и грешно: ненавидеть мать, задыхаться в ее присутствии от ярости, молить Бога о ее смерти, мечтать о том, как она подкрадется сзади и начнет бить ее обоими кулаками – по ее голове, по толстой спине, по бездеятельным пухлым рукам, которые она поднимет для защиты. Но Таисия была хорошо воспитана и молчала, только худела от ненависти; но однажды

вечером вернулась она после работы слишком усталая, и не захотелось быть воспитанной, а мать сидела на своем обычном месте перед круглым столом, раскладывала свой бесконечный пасьянс и безмятежно улыбалась. И Таисия, не здороваясь и не целуя протянутой пухлой руки, сорвала цветную скатерть вместе с картами на пол и отчетливо прошипела:

– Хоть бы ты умерла! Я тебя ненавижу, ты дармоедка, ты бесполезная старуха, злая, вредная, дрянь! Без тебя на мои сорок пять рублей я жила бы хорошо, я была бы невестой для всякого молодого человека, а с тобой я пропадаю. Ты пола подмести не умеешь, ты скатерти постлать не умеешь, только стаканы моешь. Из-за тебя я кухарку держу, и чтоб ты сдохла, дрянь!

После этого с ней начались корчи и молчаливая истерика – за тонкой перегородкой жили внимательные соседи – и стакан с водой она яростно выплеснула на мать. Та не посмела переодеться и так до конца вечера просидела мокрая и в молчании, потому что молчала Таисия. «Какое красивое имя: Таисия!» – думала девушка, уже успокоившись, но глаз нарочно не открывала, чтобы побольше помучить мать. Намучивши, сколько следует, встала, молча и не глядя, как бы не видя мокрой и онемевшей матери, она напилась чаю и громко стучала ложечкой; потом приготовила постель, помолилась, улеглась и только тогда коротко



приказала:

– Ложись, что же ты? Мне завтра рано вставать.

Елена Дмитриевна поперхнулась и сказала:

– Но полковник, твой покойный папа...

– Если ты, – перебила ее Таисия и встала на колени на своей постели, худая, несчастная, красноносая, – если ты мне хоть раз скажешь про покойного папу, то – смотри! То смотри!

И по виду спокойно Таисия легла на правый бок, а мать заплакала и плакала часа полтора, пока Таисии не надоело слушать и она не уснула. И с того дня для Елены Дмитриевны стало две Таисии: одна, которая при посторонних, почтительно сдержанная, воспитанная в институте, образцовая дочь; другая, которая вдвоем – молчаливый ужас, проклятие, призрак чего-то мертвого. А пола все-таки мести не сумела, а скатерти постлать не смогла, а пасьянс потихоньку раскладывала – бесполезная старуха, истинная дармоедка.

Но вид у нее был величественный, покорявший сердца. Была она высока, крупна, дородна, имела двойной подбородок и правильные черты лица, ходила не торопясь, как царица на сцене, и сановитостью своею очень напоминала Екатерину Великую, императрицу. На это сходство не раз указывал покойный полковник и самглубоко и мистически верил в него,

считал за честь для дома; но стоило всякому поближе взглянуть в добрые, голубые и слишком ясные ее глаза, чтобы сразу и наверное сказать: нет, – это не Екатерина Великая.

И как бы внутренне ни страдала она, величественный вид оставался нетронутым, и в присутствии бесполезной старухи, при посторонних, совсем пропадала маленькая и щупленькая Таисия, выродок.

## II

Здесь на первый план выдвигается Михаил Михайлович Веревкин, молодой человек из Государственного банка. Одевался он безукоризненно, был невысокого роста, но держался с достоинством, и примечательного в его внешности были только огромные плоские щеки, поверхность которых до странности не соответствовала размерам глаз, носа, усов и острого подбородка.

Веревкин искренно любил Таисию, но началом его любви была Елена Дмитриевна, маман, как называл он старуху: ее величественность покорила его сердце и наполнила восхищением вплоть до любви и к Таисии. Он ее уважал, он ее боялся, он считал ее настоящей Екатериной Великой, как и полковник, он тайне молился ее бездействию, отнюдь не считая его дармоедством, ее бесконечному пасьянсу, в котором ничего не понимал, ее французской речи. Сам он собственными великими трудами изучил французский язык и целый год посещал курсы Берлица для прононса, и в банке он вел корреспонденцию на этом языке, но у Елены Дмитриевны французский был как бы прирожденным, легким и свободным, как щебетание. Что Таисия! – Таисию он сам поправлял. И ко-

гда он воображал, как после брака сидят они втроем в прекрасной комнате и все трое! – все трое! – говорят между собой – между собой! – по-французски, ему казалось это нестерпимым, нечеловеческим блаженством.

– Но, Таисия! – говорил он на свидании, когда они в десятый раз под ручку проходили темную улицу, – но, Таисия! сейчас наш брак невозможен. Подумайте, Таисия, как мы можем устроить маман? Мы люди маленькие, мы люди работающие, но маман привыкла к роскоши, для нее нужно помещение! Нельзя же ее как-нибудь... вы понимаете меня, Таисия?

– Но маман вовсе не так требовательна, Мишель, – пробовала возражать Таисия, – ее можно устроить в детской...

– В детской? – ужаснулся Михаил Михайлович, – что вы, Таисия! Как можно! Дети так безобразны, они будут кричать... как можно! Нам надо, нам необходимо подождать, что же поделаешь. Но вы мне разрешите зайти завтра к вам и засвидетельствовать мое почтение Елене Дмитриевне? Я не побеспокою ее?

– Ну, что вы! Она будет так рада, – с тоской возражала Таисия, в одиннадцатый раз поворачивая на темную улицу с одинокими фонарями.

Было противно, что он уже презирал будущих детей. Было противно, что он не чувствовал и не пони-

мал всей прелести одухотворенного образа Таисии и непременно хотел Екатерину Великую, как и несчастный папа. Он и ростом был ниже Елены Дмитриевны, но даже этого не понимал, ничего не понимал!

И каждый раз после свидания Михаил Михайлович чувствовал себя так возвышенно, словно видел в прекрасном сне дворец и лакеев в красных с золотом ливреях, а Таисия плакала, хваталась за костлявую грудь и до полуночи сдавленно визжала над головой величественной маман, трясшейся от страха: она и в страхе была величественна. Эти часы неистовства Таисия называла про себя «уроками»; но однажды, после урока, затянувшегося особенно долго, с матерью случился легонький удар, она с гулом завалилась на пол и дня четыре пролежала в постели без языка. Михаил Михайлович был расстроен до слез и часами почтительно просиживал у изголовья больной, читая в ее закрытые глаза французский роман, пока Таисия готовила компрессы и по капелькам, тщательно отмеривала лекарство.

Потом садилась сама и делала вид, что слушает, а на самом деле внимательно и с ненавистью разглядывала Михаила Михайловича, гундосившего французские фразы. Свет низенькой лампочки слабо освещал его острый подбородок, мелькал на усиках и терялся где-то в бесконечности его щек; и было ясно, что умри

Елена Дмитриевна – и Веревкин может самым глупым и подлым образом покинуть Таисию. «Вот подлец!» – с отчаянием думала она и решила, что на будущее время ей необходимо воздержаться от неистовства.

Совсем, конечно, она не воздержалась, но некоторую осторожность внесла, визжала и шипела меньше, а по окончании урока толкала к матери посуду, грубо говоря:

– Ну? Что ж не моешь? Мой!

Она знала, что в этом занятии Елена Дмитриевна черпала успокоение. И пухлыми, дрожащими пальцами, которых когда-то так нежно и почтительно касался полковник, Елена Дмитриевна мыла стаканы и чашки и действительно успокаивалась.

### III

Хотя Михаил Михайлович был совершенно сухопутен, но обожал море и морские виды, и на этом основании, вымолив аванс в своей конторе, Таисия наняла на лето комнатку в Оллиле. Ей и самой хотелось отдохнуть, и была притом мечта, что морские виды, белые ночи и одинокие ночные прогулки по пляжу поднимут любовное настроение Веревкина, отвлекут его от мыслей о Елене Дмитриевне и разрешат болезненный вопрос о браке. И белые ночи вообще очень шли к бледному и вялому лицу Таисии, скрывали красноту носика и выделяли черноту довольно густых бровей – и этим также надо было воспользоваться.

В первый же праздник, идя под розовым зонтиком на станцию для встречи Михаила Михайловича, Таисия решительно сказала матери:

– Слушай, ты! Вечером мы пойдем с Мишелем гулять на пляж, вдвоем, понимаешь? И если ты увяжешься с нами, то – смотри!

– Но, Таисия...

– Я сказала. Заела мою жизнь, а теперь извольте помолчать, на вас смотрят. Дармоедка!

И в этот вечер они пошли с Михаилом Михайловичем вдвоем и под ручку. Было море и морские виды,

была белая ночь, и песок любовно шуршал под ногами, но Веревкин был скучен и вял и на остановках целовался так неподвижно и отвлеченно, что хотелось зарыдать и ударить его по физиономии. На несколько минут увлекся было разговором о Биаррице, куда впоследствии они поедут, говорил горячо и красиво, а потом внезапно повернул домой.

– Ведь еще рано, Мишель! – сказала Таисия со слезами. – И посмотри, какая красивая туча на том горизонте!

– Нет, неудобно, Таисия: мы оставили маман одну. Это положительно неудобно!

– Она любит одна, оставьте, Мишель! Смотрите, какая туча на том горизонте.

– Вы знаете, Таисия, что я люблю тучи и всегда стремился к морю, но мне еще дороже уважение к вашей почтенной матушке, – внушительно ответил Михаил Михайлович и непреклонно зашагал назад, топчя следы маленьких ножек Таисии.

То же повторилось и в следующую прогулку, через неделю, и Таисия плакала, а Михаил Михайлович был почти груб и отвратителен со своими плоскими, бесчувственными щеками; и кончилось тем, что Таисия сама разрушила свои мечты, пригласила Елену Дмитриевну гулять с ними. Ужасно было гулять втроем, когда сердце полно любви и неудовлетворенной нежно-



сти, но самое ужасное для Таисии и даже неожиданное заключалось в том, что почтительный Михаил Михайлович всю дорогу вел под руку мать, а Таисия шла впереди – одна. Пыталась она, вся сотрясаясь от подавляемых слез, цепляться за левую руку Веревкина, но это было и неудобно, и некрасиво, и не соответствовало французскому языку, на котором все трое говорили.

И в первые минуты этой неестественной прогулки Елена Дмитриевна, помня уроки дочери, замирала от страха, трудно дышала и старалась молчать, но искреннее поклонение Веревкина, шуршание песка под ногами и морские виды постепенно погрузили ее в сладкий и обманчивый туман. Ей смутно грезилось, что с нею идет, почтительно касаясь, сам полковник, или если не идет, то откуда-то сверху благословляет ее; и в нежном полузабытьи, на прекраснейшем французском языке, она что-то болтала, тихо смеялась куда-то внутрь уходящим смехом и рассказывала о Биаррице, где она уже была. На мгновение, при виде костлявой спины Таисии, становилось холодно и страшно, а потом опять сладкий туман и невнятные шепчущие грезы. Изредка, величественно и ласково, она поправляла Веревкина, все еще не могшего усвоить трудного прононса, и он каждый раз благодарил и, вызывая ее снисходительный смех, снова старатель-

но повторял неудающееся слово.

После первой такой прогулки Таисия неистовствовала почти до утра и даже не поехала на службу. После второй и третьей она молчала, как застывший камень, и страшно было смотреть на ее почти мертвецкое лицо с побледневшим носом. А после пятой прогулки, когда Михаил Михайлович уехал в город, она позвала мать снова на берег.

– Пойдем. Я не хочу, чтобы нас слушали соседи; довольно уж. Надень платок, тебе будет холодно.

Были страшны и ее мертвецкое лицо, и эта непривычная забота, и загадочная решительность слов; и они пошли. В тот день на Финском заливе была буря, как назвал это Михаил Михайлович, и сильный ветер забирался в рот и уши, мешая говорить; негромко плескался прибой, но вдалеке что-то сильно и угрожающе ревел одинаковым голосом: точно с самим собою разговаривал кто-то угрюмый, впавший в отчаяние. И там вспыхивал и погасал маяк.

– Садись на этот камень, спиною к ветру, так, – приказала Таисия, а сама осталась стоять; и говорили они не лицом, а боком друг к другу, словно объяснялись с кем-то третьим. Трудно было поверить, что они только недавно были здесь с Михаилом Михайловичем и весело, по-французски, говорили о буре.

– Я слушаю, – сказала Елена Дмитриевна, не зная,

что еще будет.

– Или ты, или я – понимаешь?

– Нет.

Таисия крикнула, или это ветер так усилил и оборвал ее слова:

– Не понимаешь? Или ты, или я, – тебе говорю. Вот смотри: я крещусь, видишь? Крещусь! Если еще продолжится и повторится то же, я отравлюсь. У меня яд есть – слыхала? Яд есть у меня, я отравлюсь.

И долго и по виду спокойно говорила о своей проклятой жизни и о своей проклятой любви к Веревкину, который дурак и трус и не смеет жениться на ней, потому что беден и не знает, какой ему дворец построить для Елены Дмитриевны. Говорила о себе, что она плюгавая, красноносая и знает это; и что скоро у нее все равно будет чахотка, а замужем она еще могла бы поправиться.

– Иногда... иногда, – всхлипнув, сказала Елена Дмитриевна, – от детей бывает здоровье. Я тоже до тебя слабая была.

. – Вот видишь! – подтвердила сухо Таисия, – так как же мне жить, подумай. Но разве вам втолкуешь? Вы белоручка, вы всегда на чужой счет жили, а мы с Мишелем люди работающие, вы нас заедаете. Ты думаешь, он тебя потом не проклянет? Проклянет. Это теперь вы его околпачили вашим французским да

вашим видом, а как придется каждый день кормить вас... Вы и едите много, больше меня, а мне скорее надо бы – но разве у вас есть совесть?

– Есть, Таичка!..

– Оставьте, пожалуйста. Из-за вас папа казенные деньги растратил и всю жизнь был мучеником, из-за вас и я отравлюсь. А вам что? Только бы пасьянса у вас не отняли... Ах, ну и дрянь же ты, старая дрянь. Кокотка!

Последнего слова еще ни разу не произносила Таисия, и оно остановило ее; и в молчании сильнее зашумел ветер в волосах: платок уже давно соскочил с головы Елены Дмитриевны. Но, подумав, Таисия настойчиво повторила:

– Ну да, кокотка, конечно. Содержанка. У них тоже такие руки, как у вас. Да если бы вы только могли почувствовать, как я вас ненавижу!

– Я чувствую, Таичка!

– Врете, куда вам. Вот умру, тогда почувствуете, да поздно будет.

– Я постараюсь, – сказала Елена Дмитриевна.

– Что постараетесь?..

– Я постараюсь... Что же мне еще сказать, Таичка?

Таисия засмеялась и, смеясь все громче и зачем-то вскинув обе руки, пошла вдоль берега, против ветра.

– Куда ты?

Она все смеялась и шла и все выше закидывала руки; потом упала лицом вниз и, хохоча и плача, стала грызть себе пальцы, вырывать космы волос, разрывать одежды на груди – новенькую блузочку, сегодня впервые надетую. А Елена Дмитриевна беспомощно стояла над нею и, тоже зачем-то подняв обе руки, беззвучно рыдала в себя, в глубину груди, где тяжело ворочалось, не справляясь с работой, старое ожиревшее сердце.

– Хочешь, я утоплюсь? – спрашивала она Таисию, но или тих был ее голос, или море заглушало его своим шумом: Таисия не отвечала и, перестав биться, лежала как мертвая. Это темное пятно на песке; это маленькое одинокое тело, мимо которого своим чередом, не замечая его, проходили и ночь, и широкая буря, и грохот далеких волн, – было ее дочерью, Таисией, Таичкой.

Громко вскрикнув от укусившей тоски, точно копируя все движения и поступки дочери, Елена Дмитриевна засмеялась, подняла обе руки и пошла вдоль берега, против ветра; все шире открывались навстречу подвижной тьме ее голубые, величественные, безумные глаза. Вероятно, в эти минуты она сошла с ума, потому что громко начала вызывать из тьмы:

– Полковник! Яков Сергеич!

## IV

Недостаток Елены Дмитриевны был в том, что она совершенно не умела думать и даже не знала, как это делается другими. Говоря, она никогда не знала вперед, что скажет; умолкая же – либо задремывала с открытыми глазами и величественным видом, либо продолжала в голове плетение беззвучных слов, не имеющих ни начала, ни конца. Оттого она и пасьянс так любила.

И теперь ей было очень трудно: понадобилось удержать в голове новую мысль, и не только удержать, не дать ей выскользнуть во время сна, но даже и развить ее до каких-то сложных и значительных последствий. Явилась эта мысль случайно, как будто на вокзале, когда в ожидании билета у кассы она прочла страховое объявление – приглашение пассажиров страховать на случай железнодорожного несчастья.

«Вот если бы я застраховалась в десять тысяч, – сказала она себе, так как умела не думать, а только говорить себе, – и потом упала бы с поезда, то моя несчастная Таичка получила бы десять тысяч и стала бы счастливою с Мишелем».

Сказав это себе, она тотчас же хотела по обычаю

забыть сказанное, но почему-то оно не забылось и еще два раза вспомнилось в вагоне. Даже пришли в голову некоторые новые подробности: именно, что Мишель и Таичка могут тогда съездить в Биарриц, где она может указать им хороший недорогой пансион с видом на океан.

«Но самоубийцам, вероятно, не платят», – сказала она себе дальше и стала искать, кого бы об этом спросить. Но в третьем классе, где она ехала, были только финские мужики и дешевые дачники; и она перешла в первый и с удовольствием опустилась на зеленый потертый бархат сиденья. Против нее, в том же купе, читал газету пожилой полковник, почтительно принявший длинные ноги, когда она садилась. Улыбнувшись и поблагодарив полковника, Елена Дмитриевна с видом знатной дамы, привыкшей иметь свиту, спокойно и просто обратилась к нему с французской фразой, но он не знал французского и густо покраснел, извиняясь. Тогда с тем же спокойствием она по-русски спросила о самоубийцах, платят ли им?

Кажется, он ответил, что не платят, – она забыла, вернувшись домой; да и самую мысль позабыла, пока не приехала поздно вечером усталая и немая Таисия.

– Вот, Таичка, деньги за пенсионную книжку, – сказала Елена Дмитриевна и с некоторой гордостью подала дочери деньги, – это были единственные минуты

за месяц, когда она чувствовала себя полковницей, у которой полон двор послушной и влюбленной челяди. И до сих пор Таисия каждый раз благодарила и даже целовала руку, хотя и сухо, по привычке; но теперь – все так же молча, не меняя выражения каменного лица, взяла и бросила деньги на пол.

– Таисия! – воскликнула мать, но, увидев сумасшедшие глаза Таисии, не посмела продолжать. Не посмела она поднять и деньги, так как Таисия нарочно ходила по бумажкам и по мелочи и даже напевала что-то, будто не замечая ни матери, ни ее денег. Так они и пролежали на полу до минуты, когда обе женщины ложились спать. «Ночью поднимет», – подумала Елена Дмитриевна, но и ночью, когда она вставала, и утром деньги продолжали валяться на полу. Со слезами собрав их, Елена Дмитриевна положила на стол – и со стола снова на пол сбросила их Таисия. И, завиваясь перед маленьким зеркальцем, будто с беззаботностью мурлыча и кося глазами, чтобы увидеть в зеркале свои бледные уши, Таисия захохотала и спросила:

– Это ваши тридцать серебряников?

– Так-таки и не возьмешь, Таичка?

– Ваши тридцать серебряников? Ах, пожалуйста, пусть полежат на полу ваши тридцать серебряников.

– Таисия!..



Но опять встретила сумасшедшие глаза Таисии и не посмела продолжать. Так Таисия и не взяла денег, так и уехала в город, и больно было подумать, как она теперь будет вертеться со своими грошами; и еще ни-что в жизни так не жгло рук Елены Дмитриевны, как эти деньги, эти тридцать серебряников, когда она за-пирала их в свой комод – на что они ей-то? На другой день все-таки робко спросила дочь:

– Как же ты теперь, Таичка, без денег?..

– Как? Очень просто. Я теперь не завтракаю. И чаю пью одну чашку. А что? Жгутся серебряники?

Она действительно не завтракала, и ненависть го-рела в ней: было страшно за ее впалую грудь, где вме-щалось столько безысходной злобы, себя самое ку-сающей. А еще через день и потом уже каждое утро Таисия сама спрашивала мать:

– Ну, что же? Целы ваши тридцать серебряников?

– Целы, Таичка.

– Ах, целы? Ну, берегите, берегите ваши тридцать серебряников! – и хохотала, вертя перед зеркалом свое желтое лицо с присохшими к деснам губами. Что-то обезьянье появилось в ней, вертлявое, нервно-раз-драженное, остромигающее; и подбородок выдвинул-ся от худобы тупо и зло, и приподнялись костлявые плечи. Из окна комнаты видна была лесистая дорога на станцию, и, как очарованная, не сводила глаз Еле-

на Дмитриевна с удалявшейся дочери, с ее несчастной и непримиримой спины. Уже точкой становилась эта спина в отдалении, а все грозила и влекла к себе взоры.

Так проходили дни и недели, и все не брала денег Таисия, и стали эти деньги чем-то вроде колдовства, частицею нечистой силы, попавшей в дом: никуда от них нельзя было спрятаться, целый день колдовали они над головою Елены Дмитриевны, сидели в ее мыслях. К ящичку комода, где они лежали, стыдно и страшно было подойти, как убийце, хотелось спрятать их под тюфяк или зарыть в землю. А тут пропал и Михаил Михайлович: потом оказалось, что он ездил по поручению банка в провинцию, но Елена Дмитриевна этого не знала. Таисии спросить не осмеливалась и мучилась страшными догадками: что-то вроде настоящих длинных мыслей появилось у нее. Точнее, это была одна мысль, внушенная ей страховым объектом, но такая длинная, словно клубок, медленно распускающийся.

Наконец и во сне увидела Елена Дмитриевна свои тридцать серебряников, – эти ненужные, злые и страшные деньги. Сон был страшный, и старуха стояла, металась по постели, задыхаясь и плача, пока гневным толчком не разбудила ее Таисия.

– Что же это такое! – плакала от злости и горя Та-

исия, – куда мне от тебя деваться? Богом клянусь, я больше не могу!

– Таичка!..

– Я человек работающий, я не могу без сна, а ты храпишь, как мопс – как вам не стыдно, и где у вас совесть? Что же это! Я и не ем, и не сплю: хотите, чтобы я сейчас же яду приняла? Я человек работающий, я и жизни не видела за работой... куда мне деваться? Куда?

– Мне сон страшный приснился, я не виновата, я больше не буду.

– Врете вы! Сон – какие у вас сны! Нажралась за ужином, вот и храпит... Ах, куда же мне деваться от тебя!

Укрылась с головою одеялом и долго еще и горько плакала, пока не затихла. А мать, боясь возвращения сна и что снова она разбудит Таисию стонами, долго лежала с открытыми глазами; потом, борясь с набегавшей дремой, села на кровати и до утра вздрагивала и никла головой, на которой пышные волосы вздымались, как старинный придворный парик.

## V

Страх перед смертью Елена Дмитриевна совершенно не испытывала, так как не понимала самого главного: что такое смерть? В ее представлении смерть имела только два образа: похорон, более или менее пышных, если военных, то с музыкой – и могилки, которая может быть с цветами или без цветов. Был еще тот свет, о котором рассказывают много пустяков, но если чаще молиться и верить, то и на том свете будет хорошо. И чего же ей бояться, если мужу, полковнику, она никогда не изменяла?

И не о смерти она думала, не о ее существовании, пугающем людей, а о том, что самоубийцам не платят, если они страхуются, и надо сделать какую-то случайность, представить некоторый театр – тот самый театр, в котором когда-то она так любила кушать конфеты и груши дюшес. Но что представлять? Сбивчивы и путаны были образы, возникавшие в непослушном воображении Елены Дмитриевны, и были минуты столь трудных и неразрешимых противоречий, что сидела она как потерянная с совершенно бараньим видом, раскрыв рот и выпуча свои голубые, побледневшие, бездумные глаза.

«Что же это я сию? – говорила она себе, будто в

этом заключалось все недоумение, – что же это я сижу и сижу? Сижу и сижу?»

Но не только она сидела: она и по садику бродила, и на пляж выбиралась, но и это не облегчало понимания. Походит и начнет себя спрашивать: «Что же это я хожу?» Кроме того, на пляже встречалось много знакомых дам – у нее всегда набиралось множество знакомых – и начиналась болтовня, приятные разговоры о здоровье и дачниках, и совсем терялось соображение, где-то в самом низу задышалась придавленная мысль. И опять вопрос: «Что же это я говорю? Все говорю и говорю?»

И не будь колдовских тридцати серебряников, пожалуй, вернулась бы к прежнему бездумью изнемогавшая Елена Дмитриевна, но с ними под конец преодолела все затруднения и поняла-таки, что ей надо представить на ее театре без конфет и груш дюшес: надо ей представить – во-первых, счастливую мать, всем довольную, веселую; во-вторых – хорошо одетую, пожилую барыню, которая до глупости боится железнодорожных катастроф и оттого страшится. Созданный такими трудами образ вылепился так отчетливо и властно, что и играть не понадобилось: какой она себя задумала, такой сразу и стала, будто все существо ее подверглось перемене, будто ее заново перекрасили, как старое платье в химической прачеч-

ной. И улыбка счастья запорхала в ее устах, и добродушием непроходимым стали дышать два ее вельможных подбородка, и со страхом самым искренним расспрашивала она знакомых дам о том, какие бывают катастрофы на железной дороге.

Первою заметила эту перемену Таисия и была возмущена: спрашивает про тридцать серебряников, а та улыбается, как дура! Грубо и коротко Таисия спросила:

– Ты одурела?

Слегка испугавшись – но только слегка! – мать покорно и глупо ответила:

– Одурела, Таичка, не сердись.

– Это и видно. Вы дуреете, а мне доктор сказал, что у меня придыхание в левом легком: скоро умру.

– Это ничего, Таичка, не волнуйся!

Таисия подняла густые брови:

– Да вы... Да ты и вправду с ума сошла? Что ты говоришь? Тебя в богадельню надо, вот что. Слышишь?

Елена Дмитриевна промолчала, а когда Таисия вышла – гордо улыбнулась, снисходительно вздохнула и с важным видом оправила прошивную покрывку на постельке Таисии, маленькой девочки, которая любит кружева и прошивки. В это время Елена Дмитриевна, пустив в обращение тридцать серебряников, весьма пригодившихся, имела уже и подновленное шелко-

вое платье для катастрофы, и страховой полис на восемь тысяч – на десять не хватило серебряников. Как она очаровала страховую барышню в киоске! – и все это только одним видом глупой испуганной барыни да французским обращением: мой ангел! моя милая!

Был очарован и вернувшийся Михаил Михайлович! Провинция глубоко возмутила его своей грубостью и отсутствием приличных людей, и он с неописуемым наслаждением вел под руку, высоко подняв локоть, царственную Елену Дмитриевну, любовался морскими видами и восклицал:

– Шарман! Шарман!

После же прогулки, совсем разнеженный, пригласил в садик несчастную Таисию, обнял ее тонкую талию, не замечая ни костей, ни худобы этой талии, и долго, с необыкновенной прочувствованностью, говорил о выдающихся достоинствах Елены Дмитриевны, маман. И заключил так:

– Вы знаете, Таисия, что я верю в наследственность – и мне очень, очень приятно, что у вас такая маман. Сейчас вы еще очень молоды, вы еще не сложились ни физически, ни морально, но в будущем вы, несомненно, станете похожи... Что это? Но, Таисия, о чем вы плачете?

– Так себе. Ничего. У меня в правом легком придыхание.

– Что вы говорите, Таисия? Но как же это! Какое придыхание – это опасно?

И кончился их вечер тем, что оба они плакали: Михаил Михайлович действительно был очень добрым человеком и любил Таисию, и очень перепугался, его огромные щеки побледнели. Совершенно забыв французскую речь, он вытирал слезы своим платком то у Таисии, то у себя и растерянно говорил:

– Да, да, надо поскорее венчаться, но как же это сделать? Господи, как же это сделать? Но я не думал, что это надо так скоро... ах, да не плачь же, Таичка, я сам плачу! Это правда, от командировки я сберег двести рублей, и с теми, что в сберегательной... нет, разве это деньги!

И в этот вечер впервые Таисия была счастлива. А через два дня, во вторник, к ней пришло и полное благополучие, исполнение желаний, как говорят гадалки: Елена Дмитриевна сделала-таки свою случайность и погибла под колесами вагона жертвою собственной неосторожности. Так записал в протокол обманутый жандарм со слов обманутых свидетелей и на основании психологии.

Произошло это очень просто, и были примечательны только некоторые подробности. Ехала Елена Дмитриевна из Петербурга, когда это случилось, ездила получать пенсию – и в мешочке у нее действи-



тельно оказались и книжка, и деньги, новые тридцать серебряников. В городе она купила яблок, что самоубийцы не делают, понятно; и яблоки эти нашлись тут же, недалеко от трупа. И в сетке были обнаружены и некоторые сверточки с покупками, огурцы и коробочка сардин. Было очевидно, что у старухи, при переходе с площадки на другую, закружилась голова, и она упала вниз, между вагонами: такие случаи часто бывают, и недаром она боялась железной дороги, недаром страховалась!

Да.

А боль? А страх? А бешеное биение сердца? А неопикуемый ужас живого тела, которому предстоит сию минуту быть раздробленным железными, тяжелыми катящимися колесами? И это мгновение, когда она решила упасть, и руки отлипли от поручней, и вместо их твердости и защиты – пустота падения, наклон, невозвратность? И этот последний вопль, беззвучный, как молитва, как зов о помощи во сне: полковник! Яков Сергеич!

Но обо всем этом ничего не было сказано в протоколе, и разве только дочь Таисия могла бы прибавить нечто новое, доставшееся ей среди прочего наследства.

## VI

Это была маленькая и бестолковая записочка, найденная Таисией в комоде матери, в том как раз ящике, где так долго покоились неприкосновенные тридцать серебряников; перед тем, как упасть в обморок, Таисия записочку сожгла на спичке, и содержание ее осталось в памяти смутно, как нечто в высокой степени обрывочное и безалаберное. Видимо, главной целью записки было указать пансион в Биаррице с видом на океан: прямо из окон видно море; дальше утверждалось, что Мишель составит счастье Таисии, после чего мысли старухи перескочили на какие-то кофточки в шкапу – довольно длинное перечисление, и еще что-то хозяйственное, бестолковое и явно придуманное, чтобы показать себя женщиной солидной и понимающей. О смерти не было ни слова; и где-то сбоку, поперек письма, торопливая и легкомысленная по начертанию подпись: любящая мать.

Но смысл письма был ясен, и правильно поступила Таисия, что сожгла его как уличающий документ. Вернувшись в чувства после недолгого обморока, Таисия тщательно и со страхом обыскала все ящички, шкафчики и коробочку с новеньким наперстком и не употреблявшимися нитками: никаких иных докумен-

тов, кроме полиса на восемь тысяч, не оказалось, все было в порядке, чисто и открыто, хоть вся полиция смотри. И тогда она снова упала в обморок и лежала на полу долго, основательно, пока не пришли жильцы и не отлили ее водою.

Так вступила Таисия в наследование капиталом, впоследствии составившим основу ее семейного благополучия. Убитый горем Михаил Михайлович очень мало внимания обратил на деньги и с глубоким, еще более возросшим уважением к памяти Елены Дмитриевны вступил в брак только через год, по истечении траура; и Таисия, у которой и характер и лицо заметно изменилось к лучшему, нисколько не противоречила ему. Но и венчались они скромно, только при двух шаферах, товарищах Веревкина, и венец над огромными его щеками придавал ему внушительный вид какого-то древнего, но очень скромного бога счастья.

Потом было у них с Таисией много радости с устройством квартиры, с мебелью и арматурой, потом со счастливым рождением первого ребенка, девочки, названной в честь бабушки Еленой, Леночкой – жертва не оказалась бесплодной. Но и люди не оказались неблагодарными, и если Таисия больше молчала, храня свою тайну, то Михаил Михайлович каждый день вспоминал о маман и твердо и на все времена для детей и внуков установил ее культ.

Он говорил Таисии:

– Маман умерла, но маман должна незримо присутствовать среди нас и благословлять наше маленькое гнездышко. Но не подумай, Таисия, что это какие-то деньги, которые ее благородная душа оставила нам. Я готов бы всю жизнь работать поденщиком, только бы она была бы жива!..

– Я знаю, Мишель. Ты сам – благороднейший человек.

– Что я! – искренне восклицал Михаил Михайлович, – что я! Я человек маленький, я человек работающий, но она, наша дорогая, наша незабвенная... ты помнишь, Таисия, как мы гуляли по пляжу? И можно ли было подумать, что какая-то глупая случайность погубит эту драгоценнейшую – драгоценнейшую жизнь!

И по огромным щекам его медленно стекали маленькие искренние слезинки и застревали в нафабранных усиках. Так он и до сих пор любил величавую Елену Дмитриевну, продолжал поклоняться ее дармоедству.

С маленькой карточки Елены Дмитриевны было сделано увеличение в лучшей мастерской и в роскошной раме повешено в кабинетике Веревкина, прямо над его головой; и за рамою – это была мысль Таисии – торчал пучок искусственных цветов. Что цве-

ты! – Михаил Михайлович и лампаду бы повесил, не будь это явным кощунством и в то же время смешным преувеличением, что он и сам сознавал в спокойные минуты. Но взгляд, в одиночестве и даже при людях, обращенный им на портрет, был взглядом молящегося; и в ответ ему смотрели с портрета большие глаза Елены Дмитриевны, слегка подведенные ретушером, веселые, как от пьянящего газа, и водянистые. Даже в фотографии чувствовалась их бездумная голубизна, как у тех цветочков, что через тонкий слой слюды невинно смотрят с белого изразца.

– Она смотрит! Она смотрит! – восклицал Михаил Михайлович, переходя с одного конца комнаты в другой и всюду встречая этот прямой и веселый взгляд: – Таичка, она смотрит!

– Да, это удивительно, – соглашалась Таисия, также переходя из одного угла в другой и наклоняя голову: – Это прямо поразительно, Мишель!

Но одна, убирая письменный стол мужа, неохотно смотрела на портрет; раз только, задумавшись, с метелкою в руке, больше получаса вглядывалась в глаза и губы Елены Дмитриевны, словно изучала их или чего-то искала. Потом с легким вздохом принялась за уборку: одно Таисия знала твердо – что и на пытке, и на самом Страшном суде не выдаст она тайну о смерти матери.

То спокойствие и даже некоторая мудрость, которые сразу пришли к ней со смертью матери, уже не покидали ее; и на многое, что прежде волновало ее до истерики, теперь она смотрела с легкой, почти насмешливой улыбкой. Так, с улыбкой вспомнила она свою неистовую ревность – к старухе-то! – свою ненависть, дикие выкрики и слезы: смешно подумать – кокоткой ее называла, старуху-то! С той же улыбкой мудрости, спокойствием человека, сытно пообедавшего, глядела она на маленькие и действительно смешные попытки Михаила Михайловича в чем-то подражать полковнику: он и халат себе такой же сделал, пользуясь указаниями Таисии, и чубуки развесил над турецким диваном, хотя сам и не выносил табачного дыма, и что-то военное старался придать своему безнадежно мирному и тихому лицу. Пусть – это никому не мешает.

Уже после первого ребенка, Лелечки, она заметно пополнела и окрепла, и исчезли всякие придыхания в легком, а после второго, большеголового Яшеньки, у нее появилось даже некоторое дородство, сановитость, и определенно прорезалась морщинка на том месте, откуда в будущем обещал набухнуть второй подбородок. Намечалось несомненное сходство с покойной матерью. На это обстоятельство первый обратил внимание Михаил Михайлович и был, конечно, в

восторге: теперь его мечта окончательно сливалась с действительностью.

– Но это замечательно, Таисия! – восклицал он, сличая портрет и жену, – это замечательно: ты становишься вылитая покойница маман! Это такое счастье для нашего дома... ты знаешь, как я всегда уважал твою маман!

– Да, я знаю, Мишель, ты благородный человек.

– И ты так пополнила, милочка, просто прелесть! – Он деликатно, ощупывая жировые складки на поясице жены, обнял ее и усадил с собою на турецкий диван, откуда особенно хорошо был виден портрет Елены Дмитриевны с подведенными веселыми глазами. Таисия положила голову ему на плечо и подтвердила:

– Да, скоро хоть лечиться от полноты, а помнишь, какая худая я была? ужасно. Это от детей, Мишель: мама говорила, что и она до моего рождения была слабенькая. А ты заметил, Мишель?.. Нет, не скажу!

Михаил Михайлович отвел глаза от портрета:

– Что, моя козочка? Говори, говори – ну?

Таисия отодвинулась и слегка покраснела.

– Мишель, ты помнишь, как у меня всегда краснел прежде нос? Понимаешь, во всякую погоду, всегда?

– И в комнатах?

– Ну да: и в комнатах!

– Да, что-то помню.

– А теперь? Нет, ты внимательно посмотри, это чудо. А теперь?

Михаил Михайлович старательно всматривался, но не мог найти даже намек на красноту.

– А теперь... А теперь... Нет, Таисия, ничего подобного. Совершенно белый нос, совершенно! Даже представить трудно, что хоть когда-нибудь он был красный!

И, счастливо вздыхая, Таисия подтвердила:

– Был, Мишель, был, это только ты не замечал, глупенький мой мальчик.

Они поцеловались, дружески и нежно, как муж и жена, живущие счастливо. Потом молча, в задумчивости, стали смотреть на портрет, и он молча, не мигая, смотрел на них из роскошной рамы. Невинно и пьяно, как от веселящего газа, глядели подведенные глаза покойницы, принесшей мир и благополучие дому своему.

*1916 г.*